
КАЛИКА
ПЕРЕМЕТНЫЙ
ОЛЕГ ГОЛИКОВ

Олег Голиков

КАЛИКА ПЕРЕМЕТНЫЙ

https://litres.ru/74934249
SelfPub; 2026

Аннотация

XVII век, Москва, царствование Алексея Михайловича, прозванного "Тишайшим". Бывший стрелец и стрелок Василий Пряхин оказывается втянут в противостояние боярина Матвея Силыча Злобина и его сына Фомы. Ему предстоит сделать непростой выбор. Каким он будет?

Содержание

Повесть 4
ГЛАВА ПЕРВАЯ 5
О том, как дождь бывает долгим, а свинец — тяжелым 5
ГЛАВА ВТОРАЯ 13
О том, как хоромы бывают высоки, а страхи — глубоки 13
Конец ознакомительного фрагмента. 22

КАЛИКА ПЕРЕМЕТНЫЙ

Повесть

Москва, 7179 (1671) год от сотворения мира

ГЛАВА ПЕРВАЯ

О том, как дождь бывает долгим, а свинец — тяжелым

Июньский дождь в Москве 7179 года лил не переставая.

Он начался еще в четверг, в Вознесение, когда стрельцы, объевшиеся медовухой и воблой, шатаясь, брели по слободам. Дождь хлестал их по лицам, разбивал деревянные мостовые Никольской в жижу.



Василий стоял на крыльце. Дождь падал ему на лицо, стекал по бороде, по шее, за ворот сермяжного кафтана. Изба была низкая, рубленая из сосен. Оконце волоковое, бычьим пузырем затянутое. Пузырь от сырости пожелтел, как старая бумага.

Василий Пряхин смотрел на лужи.

Левый глаз дергался. Дергался каждый раз, когда за Москвой-рекой, сквозь шум воды, прорывался колокольный гул — к вечерне ли звонили, в набат ли били. Василий прикрывал веко тяжелой ладонью.

От него пахло дегтем и полынью. Дегтем он пропитывал кожух пищали. Полынь висела под потолком — горькая, сухая, пыльная.

Добрая пищаль лежала на лавке. Длинный ствол, ореховое ложе, потемневшее от пота и масла. Василий не брал ее в руки сорок дней.

Сорок дней, как на Красной площади палач отсек голову Степану Разину. Четвертовали сначала, потом голову отсекли. Кровь лилась по деревянному помосту. Вороны слетались.

Сорок дней. Срок, за который душа покойника, по народному поверью, отрывается от земли. И душа Василия — отрывалась тоже. От того, что он творил на Волге, под Симбирском, у Дона. Тогда и прозвали его в Стрелецком приказе Каликой Перемётным. Не за глаза, не за грамоту.

Под Симбирском, в октябре прошлого года, воровские казаки рвались к засечным воротам. Смоляные бочки катили, огонь зажигали. Василий лежал за бруствером, в грязи. Ветер дул в лицо, бил в глаза солью и дымом.

Один из бунташных атаманов, Серьга что ли, бежал впереди. Фитиль в зубах держал. Сто двадцать саженей было до него — расстояние убойное. Василий не торопился. Выдохнул. Сердце билось глухо, сильно. Нажал спуск, когда удар пульса отдался в пятке.

Пуля разнесла казаку череп. А следом Василий выхватил из-за пояса пистоль — и второго уложил. Тот с бердышом на князя Барятинского бежал. Три выстрела. Три трупа. За это и прозвали.

А сейчас он был просто Василий. С проседью в русой, нечесаной бороде. С пороховой чернотой под ногтями, которую не отмыть ни щелоком, ни песком. Хмурый мужик тридцати пяти лет. Опасный молчаливый мужик. Сам про то знал, но жил смиренно.

Дождь лил.

По бревенчатой мостовой, хлюпая сапогами из сыромятной кожи, шли четверо. Василий узнал их издали: малиновые кафтаны, черный соболь на вороте. Холопы боярина Матвея Злобина.

Боярин Матвей Силыч был человеком известным. Богатым, хитрым и живучим — пережил и соляные бунты, и ратную смуту, и деяния патриарха Никона. Выплывал из любой

грязи — всегда незапятнанным и богаче, чем был.

Старший из холопов, Тихон, нёс берестяной тяжелый короб, окованный медью с зеленой патиной. Тихон, росту невысокого, но плотный, переваливался с ноги на ногу, увязая в грязи по щиколотку. Лицо круглое, наглое, глаза навыкате.

Остановились в трех саженях от крыльца. Дождь стекал с их шапок-мурмолок, с собольих воротников. Малиновая краска потемнела до цвета крови.

— Здрав будь, Василий Пряхин! — крикнул Тихон. — Боярин Матвей Силыч тебе кланяется!

Василий молчал. Стоял на крыльце, руки скрестив на груди. Смотрел сверху вниз. Левый глаз дернулся.

— Слыхал? — Тихон переступил с ноги на ногу, сапог чавкнул. — Кланяется тебе боярин! Гостинец прислал! — он поднял короб. — Открой, не побрезгуй.

Василий спустился. Земля под ногами была жирная, черная, липла к сапогам.

Он подошел вплотную к Тихону. От холопа несло кислым квасом, перегаром, старой, пропотевшей кожей. Всю ночь гулял в трактире, пропивая боярские деньги.

Василий взял короб. Пальцы нащупали замок — простой, железный. Откинул крышку. Внутри лежала черно-бурая шуба. Мягкая, дорогая. Пахла можжевельником и воском. Под ней, на дне, позвякивая, лежали ефимки и рублевики.

Василий взял один рубль, поднес к свету. На серебре — двуглавый орел. Чеканка четкая, не стертая. Пахло от монеты медью и потом чеканщика.

Двадцать рублей. Огромные деньги. За такие — изба в два этажа, конь, упряжь, пять коров. И еще на помин души останется.

Василий положил рубль обратно. Захлопнул короб. Щелчок замка прозвучал в тишине, как выстрел.

— Чего хочет боярин? — спросил он. Голос низкий, хриплый. Без выражения.

Тихон оглянулся на своих. Те стояли молча, хмуро, в землю глядя. Один, молодой, белесый, с узким лицом, сплюнул в грязь и полез рукой под полу кафтана — к ножу.

Василий даже не шевельнулся. Только голову повернул. Взглянул на белесого. Тот замер, побелел и медленно убрал руку.

Тихон шагнул вперед. Шепотом, кислятиной в лицо:

— Неведомо, чего боярину надобно. Слыхал только, учителя он ищет. Для сынка, Фомушки. Ты, говорят, и есть учитель.

Василий мотнул головой. Бровь дрогнула.

— А не согласишься, — Тихон подался ближе, почти касаясь плеча, и голос его стал тихим-тихим, как у дьяка на исповеди, — то велено мне завтра же в Стрелецкий приказ идти. Донести, что ты, Пряхин, хульные слова говорил. Что, мол, Разина жалеешь. Что царь, мол, антихрист. Понял?

Василий медленно наклонился. Тихон попятился. Но было поздно. Василий взял его за отворот малинового кафтана, рывком притянул к себе.

— Вона как заблеял, — сказал он в лицо Тихону не громко, но у того перехватило дыхание. И, глядя на белёсого, — еще раз руку к ножу потянешь — по локоть отхвачу. А боярин твой слова не скажет. Потому как я нынче учитель его сына. Понял?

Тихон захлебнулся воздухом. Глаза выкатились, подкосились колени. Он закивал, часто-часто, по-бабьи. Белёсый отступил на шаг назад.

Василий оттолкнул Тихона, что тот пошатнулся, наступил в лужу, поскользнулся. Упал бы, да короб удержал.

— Приду завтра поутру, — сказал Василий, разглаживая полу зипуна. — Сказывай, куда, к кому?

— На Варварку, — выдавил Тихон. — В боярские хоромы. Спросишь Тихона, так меня и выведут.

Холопы, не оборачиваясь зашагали обратно — в дождь, в туман, в серое месиво улицы.

Василий остался стоять с коробом в руках. Покрутил головой, да и вошел в избу. Там поставил короб на лавку и сел напротив.

Уставился на икону в красном углу. Богородица без оклада, потемневшая от копоти. Лик строгий, скорбный. Смотрела на него.

— Господи, — сказал он. — Господи Иисусе.

Из короба пахло воском и мехами. Из избы — квашеной капустой из кадки, лампадным маслом, сухой полынью. За окном монотонно шумел дождь. Где-то за слободой зазвонили к вечерне.

Василий перекрестился степенно, размашисто, в землю.

Потом снял с полки пищаль, развернул войлок. Провел пальцем по гладкому, синеватому железу. Сорок дней не касался. И вот.

Поднял пищаль. Прицелился в угол за печкой, где темнела паутина. Мушка легла ровно. Палец упёрся в спуск. Пороха нет, фитиля нет. Пустое оружие. Но Василий зажмурился на мгновение.

— Глупость всё это, — сказал себе и опустил ствол. — Завтра пойду, откажусь. Короб верну.

Завернул пищаль, положил на место. Снова сел к столу. Потер лицо ладонями. Взял ломоть хлеба с тмином. Сухой, кислый, безвкусный. Пожевал, всматриваясь в пелену за окном.

Потом встал, открыл короб. Вытащил шубу. Повертел в руках — мягкая, легкая, ворс густой. Хорошая шуба. Понюхал — лес, воск, сладкий ладан. Положил обратно. Серебро не тронул. Закрыл короб, убрал под лавку.

В избе тихо. Лампадка перед иконой горит ровным масляным светом. За окном всхлипывает дождь, стучит по тесовой крыше. Мыши шуршат о печки к столу. Василий лег на полати. Укрылся тяжелым тулупом и закрыл глаза.

Но сон не шел. В темноте стоял Тихон — с перегаром, со злыми глазами. Потом — Разин, обезображенное лицо на плахе. Потом — Настасья, жена, умершая три года назад от моровой язвы. На стене, напротив полатей, висел ее медный крестик на кожаном шнурке. Василий не снимал его с гвоздя, так и висел — горьким напоминанием.

За окном ветер гнул березки, и деревья скрипели, стонали.

Василий лежал с открытыми глазами. Размышлял, что завтра пойдет на Варварку. Не от страха вовсе. А потому что в этом мире, пропитанном кровью и ложью, у простого человека нет выбора. Есть только долг. И есть грех. И он давно перестал считать, чего в нем больше.

Только свинца — было вдоволь.

ГЛАВА ВТОРАЯ

О том, как хоромы бывают высоки, а страхи — глубоки

Утро выдалось серое, вязкое. Дождь перестал, но небо висело над Москвой низким, грязно-свинцовым сводом. Воздух был тяжёлым, пахло гарью, сырой древесиной и утренним навозом.

Василий умылся из дубовой кадки. Вода была ледяная, до ломоты в зубах. Накинул на плечи потёртый сермяжный кафтан, подпоясался кожаным ремнём с потускневшими бронзовыми бляхами.

Пищаль брать не стал. Оставил в углу, завернутую в войлок. Но нож — широкий, с рукоятью из желтого бычьего рога — сунул за голенище сапога. Привычка. Без ножа он чувствовал себя голым.

Вышел на улицу. Слобода просыпалась тяжело. За забором ругались мужики, лаяла собака, скрипел колодезный журавль. Василий шёл не спеша, широко ступая по размокшей земле.

Встречные стрельцы — кто в малиновых кафтанах на караул, кто пошатываясь с ночной пирушки — косились на

него. Кивали, но не окликали. Знали: Пряхин в опале. С ним нынче лучше не якшаться.

У стен Знаменского монастыря он остановился. Перекрестился на золотые купола, тускло блестевшие в сумраке. Из открытых ворот тянуло хлебом. Сладким, дурманящим. В пекарне уже работали.

Василий постоял, поглядел на монахов — чёрные рясы до пят, опущенные глаза, ведра к реке несут. Подумал: хорошо им. У них Бог, устав, тишина. А у него — только память о крови и дёргающийся глаз.

Вздохнул. Перекрестился ещё раз. Пошёл дальше.

Варварка встретила его запахом конского пота, сыромятной кожи и кислого кваса. Улица была узкая, замощённая кругляком, скользким от дождя. Обозные повозки стояли у ворот, возчики спорили о цене овса. Голоса звучали хрипло, надсадно.

Василий прошёл мимо, не оборачиваясь.

Боярские хоромы Злобина стояли в глубине просторного двора. От улицы их отгораживал высокий тын из дубовых брёвен. Ворота были массивные, окованные железом. Столбы резные, с коньками, изображающими скалящихся змеев. Раскраска облезла, выцвела, но мощь чувствовалась даже сейчас, в сером утре.

Калитка была распахнута настежь. Василий переступил порог. Двор вымощен битым камнем. В центре — колодец с деревянным колесом. Сам дом — в два этажа, с высоким те-

ремом, с крыльцом на точеных столбах. Слюдяные окна отсвечивали мутным золотом. Стены рублены из толстых сосновых брёвен, пахнущих смолой.

Из трубы вился сизый дым. Печи топили с утра. В сенях его ждал Тихон. Холоп был в том же малиновом кафтане, трезвый, но глаза красные, опухшие. На поясе звенела связка ключей.

— Ждут, — сказал он коротко. — Раздевайся. И нож отдай.

Василий помедлил. Тихон сглотнул, но выдержал взгляд.

— Боярин велел. В палатах оружия не держат.

Василий вытащил нож. Подержал на ладони — привычный, тёплый, родной. Положил на лавку у входа. Сапоги не снял.

— Иди за мной, — Тихон повернулся.

Коридор был тёмный, узкий. Пахло сыростью, мышами, старым тряпьём. По стенам — тканые половики, глушившие шаги. Низкий потолок давил.

Тихон привел его в горницу с длинным столом из морёного дуба. Потом — через другую комнату, где стояла муравлёная печь с библейскими сюжетами. Наконец — к двери, обитой чёрной кожей.

Тихон навалился всем телом, отворяя.

— Привёл, боярин.

Василий вошёл. Палаты боярские были высоки. Но из-за слюдяных окон казались тесными, мутными. Слюда пропус-

кала свет желтовато, искажая очертания. Потолок расписан синей краской с золотыми птицами — краска местами облезла, смотрелась бедно. В углу — бархатная завесь цвета запёкшейся крови. За ней угадывались высокие кровати с пуховыми перинами.

В комнате было жарко, душно. Пот выступил на лбу мгновенно. В центре, в массивном резном кресле, сидел боярин Матвей Силыч Злобин.

Он был грузен. Плечи широкие, но заплывшие жиром. Голова лысая, только по бокам — длинные пряди седых волос, перевитых серебряной нитью. Борода клином, масленая, пахнущая дорогим мылом и старым потом.

На нём была парчовая ферязь вишневого цвета — расшитая золотом, богатая. Поверх — шуба из чёрного соболя, накинутая на одно плечо.



Пальцы короткие, с обгрызенными ногтями. На них — перстни с крупными камнями: лал, яхонт, изумруд. От боярина шёл тяжёлый, приторный запах: старый мёд, воск, пот, который не перебивал ни ладан, ни мята.

Рядом, чуть поодаль, стоял Фома.

Василий сразу понял: сын боярский был худ. Лицо бледное, с тонкими, бескровными губами. Нос длинный, крючковатый. Одет он был не по-московски: короткий камзол до колен, немецкий, тёмно-синий, с серебряной тесьмой. Под ним — белая рубаха с кружевным воротником. На ногах — мягкие сафьяновые сапожки с острыми носами.



От Фомы пахло розовым маслом. Резким, сладким до тошноты. Запах этот в Москве не любили, считали бабьим,

богопротивным. Но в нём читался вызов. Вызов отцу, укладу, всему, что окружало юношу.

— Пряхин, — негромко сказал Злобин. Голос низкий, сочный, с хрипотцой. — Подойди.

Василий шагнул вперёд. Остановился в двух шагах. Левый глаз дёрнулся. Он прикрыл его ладонью.

— Слышал я про тебя, — Злобин не сводил с него глаз — тяжёлых, припухших, как у человека, который плохо спал. — Хорош стрелок. Лучший. Служил у князя Львова, у Ртищева. При царе-батюшке на играх отличался. Так?

— Так, боярин. Было.

— А теперь что? — Злобин усмехнулся. Обнажил жёлтые, но крепкие зубы. — Покаялся? В монахи решил?

Василий промолчал. Смотрел на боярина — и видел не богача. Видел хищника, который чувствует, что земля уходит из-под ног.

— Дело у меня к тебе, Пряхин, — боярин махнул рукой. — Видишь вот?

Кинул головой в сторону Фомы. Сын стоял неподвижно, только пальцы теребили кружевной воротник.

— Сын мой. Фома. Девятнадцатый год. Руки — как у девки. Душа — как у зайца. Боится всего. И тьмы, и грома, и особенно — железа.

Злобин покачал головой. В этом движении было столько бешенства, что Василий невольно напрягся.

— Как же так? Я — боярин. В Думе сижу. Землю держу.

А сынок любого стука боится. Позор!

Он повысил голос. Фома вздрогнул. Пальцы его побелели.

Василий глянул на юношу. Тот стоял, опустив глаза. Но в напряжении был не просто страх. Василий, всю жизнь читавший людей, увидел в нём не зайца. Увидел загнанного волчонка. Злого. Озлобленного. Сдерживаемую, кипучую злость.

— Задание тебе, стрелец, — Злобин сбавил тон. — Девять дней. Научи его стрелять. Чтоб в яблочко попадал, в монету серебряную. Понял?

Василий молчал, не считая нужным отвечать.

— Коли справишься — одарю на всю жизнь. Коли нет, — боярин зевнул широко, — пожалеешь, что родился на свет.

— Боярин, — Василий подумал, но сказал твёрдо. — Я не стреляю. Сорок дней как дал обет. Грех. Кровь на мне.

— Эка невидаль — кровь, — хмыкнул Злобин, и в голосе его прорезалась сталь. — На всех нас кровь. На царе-батюшке, на боярах, на тебе. Думаешь, в рай пустят за то, что в кусты залез? Чушь. Бог прощает, когда надо.

Он помолчал. Потом медленно поднялся с кресла. На фоне мутного окна казался огромным — как медведь. Подошёл вплотную. Запах пота и мёда ударил в нос.

— Слушай, Пряхин, — сказал он тихо. — Я тебя уговаривать не буду. Скажут — делай. Не сделаешь — завтра в твоей избе будут из Тайного приказа. А они умеют спрашивать. Понравится, как спросят, за что ты Стеньку Разина жа-

леешь?

Василий вздрогнул. Левый глаз дёрнулся. Раз, второй, третий.

— Я не жалел, — сказал он. Голос стал жёстким, как кремень.

— А они решат, что жалел, — усмехнулся боярин. — Понял?

Василий кивнул.

— Ступай. Сын проводит. Начнёшь завтра с утра. Заодно поглядишь, что он за человек.

Он отвернулся, махнул рукой. Василий поклонился — коротко, не нагибаясь до земли, но достаточно почтительно. Вышел в коридор. Фома вышел следом.

В коридоре было темно. Фома прикрыл дверь. Руки его дрожали. Он поднял глаза на Василия. Взгляд был холодный, оценивающий.

— Ты правда научишь? — спросил он. Голос тонкий, но в нём не было дрожи. — Или будешь меня бояться?

Василий удивлённо поднял бровь.

— Я тебя не боюсь.

— Зря, — Фома улыбнулся. Улыбка была острая, как лезвие. — Все меня бояться должны. Я — боярский сын. А ты — стрелец. Тебе в землю смотреть при мне надобно.

Василий ничего не ответил. Посмотрел на Фому. Тем же взглядом, от которого в Симбирске бежали бунтовщики. Фома поперхнулся. Отступил на шаг. В его глазах на секунду

мелькнуло настоящее, детское потрясение.

Василий повернулся и пошёл к выходу. Спиной чувствовал тяжёлый, злой взгляд.

Когда он спускался с крыльца, в сенях ему встретилась девушка.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.